
CURRICULUM: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

ГЕДДЕС П. ГОРОДА В ЭВОЛЮЦИИ (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ).
(Перевод с англ.).

GEDDES P. Cities in evolution : an introduction to the town planning movement and to the study of civics. – L. : Williams & Norgate, 1915. – XV, 409 p. – P. 1–24, 60–83.

Ключевые слова: город; градovedение (civics); синоптическое видение; эволюция; палеотехнический и неотехнический порядки; Утопия; Эвтопия; Какотопия; города-сады.

Для цитирования: Геддес П. Города в эволюции (избранные главы) / пер. с англ. В.Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 3. – С. 149–177.

Глава I. Эволюция городов

Здесь трактуется эволюция городов, но не как выявление истоков, а как изучение нынешней социальной эволюции, исследование разворачивающихся тенденций. Трудности подхода к градovedческим исследованиям и к улучшению городов. Примеры возбуждения интереса: антиквар и художник, строитель, домохозяйка и ремесленник и т.д. Необходимая корректировка расхожих идей, например о средневековых городах. Путешественник и его потребность в «синоптическом видении». От Аристотеля к Адаму Смиту. Дефекты нынешнего образования, сдерживающие необходимый прогресс от абстрактной политики к конкретному градovedению. Критика первой: потребность в конкретном знании, например Дублина и Белфаста и т.д. Политическая

и градоведческая установки в лондонских делах, сосредоточенные, соответственно, на отдаче от выборов и на плане города.

Как в Европе, так и в Америке проблемы города вышли на передний план и все более требуют истолкования и лечения. Политики всех партий вынужденно признают, что их традиционные партийные методы неспособны с ними справиться. Их прежние учителя – знатоки национальной и общей истории, экономисты тех или иных школ – долгое время работали в совсем иных руслах; и хотя новые исследователи градоведения (*civics*) появляются во многих городах, среди них еще не достигнут сколько-нибудь отчетливый консенсус даже в отношении методов исследования. Что уж тогда говорить о результатах! И все же того, что в наших городах – здесь, там, возможно, даже везде – началось новое побуждение к действию, новое пробуждение мысли, не станет никто отрицать, равно как и того, что они всюду чреватые новыми планами и устремлениями, свежими воззрениями и влияниями, с которыми политик и мыслитель вынуждены по-новому считаться. Складывается новая социальная наука, развивается новое социальное искусство – это наверняка становится ясно каждому наблюдателю нынешней социальной эволюции; и то, что начинают сегодня видеть пресса и парламенты, даже самые отсталые из городских советов, самые забытые из их избирателей, самые равнодушные из их налогоплательщиков, будет со всей остротой осознано завтра. Берлин и Бостон, Лондон и Нью-Йорк, Манчестер и Чикаго, Дублин, меньшие города – все до последнего времени сосредоточенные и, несомненно, до сих пор в основном сосредоточивающиеся на имперской или национальной политике, на финансах, коммерции или мануфактурах – разве не пробуждается каждый из них к новому, более интимному самосознанию? Это гражданское «я» все еще слишком непрявлено; мы не можем дать ему ясное выражение; оно до сих пор остается по большей части в стадии смятения чувств. В последнем по-разному смешиваются боль и удовольствие, гордость и стыд, опасения и упования, и из этой борьбы лишь начинают тут и там пробиваться на свет отчетливые идеи и идеалы. Из этого общего брожения мысли и родилась эта книга – книга, несомненно, в полной мере сохраняющая в себе всю его

незавершенность. Материалы к этой зарождающейся науке, стало быть, не просто собирают библиотекари, они не просто публикуются во всех формах, от ученых монографий до страстных обращений, от статистических таблиц до массовых книг с картинками; они прорастают в наших умах, причем даже тогда, когда мы гуляем по улицам, когда мы читаем наши газеты.

Сделать ли нам тогда подходом к изучению городов исследование их эволюции, отталкиваясь, как это обычно предпочитают делать исследователи американского города, от их современных линий развития и беря их такими, какими мы их находим? Или нам стоит последовать историческому методу и сосредоточиться на развитии, к чему нас естественным образом располагают многие европейские города? А если взять что-то от того и от другого метода, то в какой пропорции и в каком порядке? И не следует ли нам заглянуть, помимо прошлого и настоящего, в будущее наших городов?

Изучение человеческой эволюции – не просто ретроспективный взгляд на истоки в прошлом. Это было бы всего лишь палеонтологией человека – его Археологией и Историей. Это не было бы даже анализом действительных социальных процессов в настоящем; такая физиология социального человека является или должна была бы быть Экономикой. Помимо первого вопроса, «откуда?» (откуда появились вещи?), и второго, «как?» (как они живут и работают?), эволюционист должен задать еще третий вопрос. Не так, как это в лучшем случае делали в старину, а именно «что дальше?», как если бы уже что-то могло появиться, но скорее «куда?» (куда ж?). Ведь, без сомнения, к самой сути понятия эволюции, как бы ни было трудно это представить, а еще труднее применить, принадлежит то, что оно должно не только выяснить, как это сегодняшнее могло возникнуть из того вчерашнего, но также быть предвидением и приготовлением к тому, что день грядущий уже сейчас в свою очередь ведет к рождению. Это, конечно, трудно – настолько трудно, что всякий раз отбрасывает нас назад, к исследованию нынешних состояний, и еще дальше, к состояниям предшествующим, притом с тем результатом, что в этих исследованиях, как бы они ни были необходимы, как бы они ни становились очаровательны, целое поколение специалистов с тех пор, как доктрина эволюции ясно вошла в поле зрения, теряло зрячесть или

мужество, чтобы вернуться к главной своей задаче – задаче распознавания нынешней тенденции среди видимой фантазмагии изменений.

Короче говоря, расшифровка истоков городов в прошлом и разгадка их жизненных процессов в настоящем – исследования не только законные и притягательные, но и незаменимые для каждого исследователя градоведения, и неважно, посещает ли он и истолковывает мировые города или спокойно сидит у себя дома у окна. Но как сельский хозяин, помимо интереса к прошлым родословным и нынешнему состоянию своего скота и посевов, не должен, под страхом разорения, упускать из виду деятельную подготовку к следующему сезону, а эти исследования должен ценить постольку, поскольку к ней можно их применить, так же и с гражданином. Для него из всех людей, несомненно, эволюция наиболее ясно и стремительно пребывает в прогрессе, наиболее очевидна, но вместе с тем и наиболее таинственна. Каждое здание в его городе звучит для него подобно бесчисленным станкам, каждый со своей многогранной основой обстоятельств и своим изменчивым утком жизни. Тут паттерны кажутся простыми, там сложными, часто запутанными настолько, что и не распутать, и почти все они меняются, даже день ото дня, пока мы на них смотрим. Более того, сами эти паутины по-новому сплетаются и служат опять-таки нитями в новых, более широких комбинациях. При этом внутри такого лабиринтного городского комплекса нет простых зрителей. Слепой или зрячий, изобретательный или бездумный, радостный или подавленный – каждый непременно вплетает в него, будь то хорошо или плохо, к лучшему или к худшему, цельную нить своей жизни.

Наша задача усложняется необъятностью материала. Что сказать о городах вообще, когда даже путеводитель по Риму, Парижу или Лондону – убористый томик, напечатанный мелким шрифтом? когда витрины книжных лавок блещут прекрасно иллюстрированными томами, каждый посвященный какому-то одному городу? когда каждый из них – лишь введение в огромную литературу по каждому городу, настолько обширную, что дух захватывает? Возьмем для примера один из самых крошечных исторических городов – известный ныне в Англии лишь немногим и еще меньше кому известный в Америке, разве что в связи с про-

гремевшей на весь мир щедростью одного из его детей, рано пропитавшегося его традициями патриотизма и словесности. Так вот: бесценная «Библиография Данфермлина» м-ра Эрскина Бевериджа составляет толстенький том формата «ройал октаво» с плотно набранным в две колонки текстом!

Опять же каждый специалист, как и каждый простой читатель, склонен ограничивать свой интерес областью собственного опыта. Если мы вызовем интерес у антиквара или туриста, то прежде всего с их точки зрения; но этого мы достигнем, если, например, сможем показать им, как в точности был спланирован один из их любимых кафедральных городов – такой, скажем, как Солсбери. Когда его Епископ в 1220 г. ушел из Старого Сарума, он увел за собой его граждан в то, что было заложено им как подлинный город-сад; так что Солсбери в самом начале, шесть веков тому назад, был удивительно похож своими домами на Летчуэрт или пригород Хэмпстед наших дней. Более того, их архитекторы первыми признают, что Солсбери выгодно отличали большие садовые пространства и речки, протекавшие через улицы, не говоря уже об огромном кафедральном соборе, возвышавшемся посреди просторной огороженной территории. Теперь, заинтересовавшись, антиквар станет тем самым человеком, который подводит нас к выяснению того, как нынешние многолюдные дворы и лишённые садов солсберийские трущобы типичным путем (и сравнительно поздно) возникли из порчи и разрушения одного старого садового дома за другим. Он заново открывает для себя во всех подробностях, насколько удивительно и точно средневековое городское планирование и жилищное строительство, подобным образом обнаруженное, предвосхищает то, что мы находим в наших городах-садах; и независимо от того, заботит его обновление всего этого или нет, он может далее помочь нам с более трудными случаями, и даже с тем, который, вероятно, труднее всего – со Старым Эдинбургом, до сих пор самым перенаселённым и выродившимся из всех городов мира, но при этом со своим прошлым, так полностью и не исчезнувшим и, стало быть, одним из самых ярких и поучительных, самых многообещающих для по-новому глядящего наблюдателя, для исследователя истории. Именно это двигало Скоттом в его повторном открытии мировой романтики в истории, а затем Карлейлем в трагикомическом изображении ее значимости; именно здесь

кроется канва тонко вышитых страниц Роберта Луиса Стивенсона; и наконец, сегодня, в более научные времена, именно здесь мы находим естественное средоточие старейших британских усилий, направленных на создание школы социологии с ее теориями и школы градоведения с ее обследованиями и интерпретациями.

С художником войти в контакт поначалу может оказаться труднее, ибо ему до сих пор очень редко случалось задумываться о том, как много новых предметов для его искусства готовит здесь будущее, когда вырастают наши садово-пригородные авеню и мягко прорисовываются крыши их коттеджей. Тем не менее мы придем и к нему – уже следующей весной, когда впервые покроется цветами наш молодой фруктовый сад и в нем будут играть дети. Строитель, рвущийся строить все новые коттеджи, опять же с нетерпением ждет наших городских мечтаний и не станет смотреть на наши старые планы храмов и кафедральных соборов. Он все еще несколько склонен в церковные дни и еще больше во время рабочей недели упускать из виду, что мог бы означать один старый афоризм, касающийся частоты неудач у тех, кто строит без идеала, если бы его переформулировали в современных терминах. Опять же и утилитарная домохозяйка, хлопочущая в своей компактной и уютной, но обычно довольно маленькой и лишенной солнечного света кухне, вполне может отнестись к нам с недоверием, когда мы скажем ей, например, что там, где теперь находятся трущобы Старого Эдинбурга, эта кухня располагалась на крыльце или на крытом, но выходящем наружу балконе, пока мы не покажем ей исторические свидетельства и даже сохранившиеся следы этого. Даже тогда – такова уж сила привычки – она, вероятно, предпочтет знакомую ей обстановку, во всяком случае, пока не представит, как в отсутствие этого средневекового и возвращающегося в быт обращения со свежим воздухом она или ее маленькая служанка могут оказаться на грани чахотки. Ее муж, мастеровитый ремесленник, занятый на постоянной работе с более высокой заработной платой и меньшей продолжительностью рабочего времени, чем у его континентального конкурента, запросто может вытаращить глаза, узнав о том, насколько больше во многих немецких рабочих городках того, что делает жизнь стоящей того, чтобы жить, по сравнению с нашими городами, или о том, что, будь он механиком в Марселе, Ниме или во многих других французских

городах, он отдыхал бы все лето в конце недели со своей семьей в своей маленькой деревенской усадьбе, то занимаясь своим виноградником, то уютно разлегшись под собственным фиговым деревом. Прежде всего, давайте закончим это предварительное расшатывание популярных мнений на том же, с чего мы начали. Богатый и бедный, консерватор и либерал, радикал и социалист, все они будут, скорее всего, поставлены в тупик – почти во всем, что им привычно было всю жизнь слушать и повторять о бедности, нищете и деградации городов Средневековья, и исходя из чего столь часто говорилось, что мы с той поры во всех отношениях прогрессируем, – если выложить перед ними несколько их старых планов и изображений, скажем, с выставки «Города и городское планирование». Ибо в них – как и во всякой публичной библиотеке – легко отыскать старые документы, а почти в каждом городе и реальные сохранившиеся следы, доказывающие, насколько величественными и просторными были рыночные и общественные места, как много было садов и даже какими широкими и роскошными во многих средневековых городах могли быть главные улицы. То, что в них достойно порицания – и в наши дни вполне правомерного, – было привнесено в них в столетия, следовавшие за Средневековьем: самое худшее – в индустриальный период, многое – в наше время. Если нужен какой-то конкретный пример этого, то мир не сможет предложить ничего драматичнее и полнее, чем Историческая Миля в Старом Эдинбурге, особенно Хай-стрит, где пишется эта книга. Ибо, как мы выше уже указали, это нагромождение средневековых и ренессансных пережитков было и по большей части пока еще остается самым убогим конгломератом, самым перенаселенным ареалом в Старом Свете; даже в Новом разве что эмигрантские кварталы Нью-Йорка или Чикаго могут оспорить его зловещее превосходство. Между тем наше «Градоведческое обследование Эдинбурга» показывает, что эти порочные черты в основном современные, а городская планировка XIII в. строилась – не только относительно, но и позитивно – по очертаниям, на свой лад более просторным, чем те, которые дали известность нашему «Новому городу» и его современному бульвару на Принсес-стрит.

Аристотель, основоположник градоведческих изысканий в ряду многих прочих, благоразумно настаивал на важности не только сравнения городских устройств (а он сравнил таких 163),

но и лицемерия города своими глазами. Он требовал, чтобы наш взгляд был подлинно *синоптическим* (это слово в ту пору еще не стало абстрактным, а было живым и конкретным, о чем говорит его состав): видением города в целом, подобно тому, как Афины виделись из его Акрополя, а город и Акрополь вместе взятые – т.е. реальные Афины – с Ликабеттуса или из Пирея, с вершины горы или со стороны моря. Широкие виды в абстракции, как знал и емко говорил Аристотель, зависят от широких видов в конкретности. Забывание о таком их укоренении – это слабость, постоянно губившая философа, оставляя его, при всех его восхитительных абстрактных способностях, в одну эпоху софистом, невзирая на Аристотеля, в другую – схоластом, невзирая на Альберта Великого, в третью – педантом, невзирая на Бэкона. Так же и в позднейшие времена – с губительными результатами для градоведения и, следовательно, для городов. Отсюда творцы конституции времен Французской революции и творцы современной политики, совершенно абстрактные, невзирая на «Энциклопедию» Дидро и «Дух законов» Монтескье, изобилующие широкими наблюдениями. Отсюда же длительное превращение политической экономии в унылую науку, хотя рождалась она вполне конкретно, сначала через обобщение внушительного сельскохозяйственного опыта у Кенэ во Франции, а затем через уточнение его синоптическими городскими впечатлениями Адама Смита. Ибо, как из раза в раз подтверждают полевые экскурсии нашей Эдинбургской школы социологии, и основная его жизнь, и, видимо, абстрактная его работа были в первую очередь расширением и здоровой переработкой его наблюдений – не только сделанных в зрелые годы в Глазго, но и наблюдений в прежних его домах в детские и юношеские годы. Нигде так ясно не представляешь то превосходство мануфактур, судоходства и внешней торговли как средства обретения богатства над сельским хозяйством, на котором упорно настаивал Смит, как в ходе прогулки по торговым городам Старого Света – Керкколди, Дайсарту и остальным, – выстроившимся вдоль побережья Файфа. Ведь во времена Смита, пусть и не в наши дни, Файф представлял собой «нищенскую мантию, окаймленную золотом», как ярко и образно – и с точно такой же экономической пронизательностью – описал его пять-шесть поколений тому назад король Яков VI Шотландский и I Английский.

Наше прошлое образование было столь книжным, столь суровой была наша школьная зубрежка «элементарных основ», мы настолько на всю жизнь застредали в их рамках, что девять человек из десяти, а порою и больше, понимали печатное слово лучше изображений, а изображения – лучше, чем реальность. Так, даже в случае немногих сохранившихся на Британских островах прекрасных городов и их отдельных изумительных улиц – скажем, оксфордской Хай-стрит или эдинбургской Хай-стрит – несколько тщательно отобранных открыток произведут на большинство людских умов большее впечатление, чем действительное созерцание их монументальной красоты: там колледжи и церкви, тут – дворец, замок и городской шпиль. Ведь к красоте таких улиц и к лучшим элементам жизни и наследия в них мы стали наполовину слепыми, так же как и к тому, что в них поизносилось, особенно когда, как в подобных городах старой культуры, они могут быть по большей части окаменением учебы или религии, а не просто феноменами активного загнивания. Но все же даже и их мы представляем с большей готовностью из краткой газетной хроники, а не из беспроектной нищеты, слишком часто предстающей нашим глазам.

К счастью, этой искусственной слепоте начинает противодействовать более региональный взгляд в науке. Полевой натуралист, разумеется, всегда работал в этом направлении. То же можно сказать о фотографе, художнике, архитекторе; кроме того, их публика подтягивается и вскоре может выйти вперед. Даже игры на открытом воздухе были по большей части до сих пор слишком ограниченными и субъективными: еще вчера, чтобы отдохнуть, люди выбирались за город и разбивали палатки в полях. Сегодня бойскауты выезжают за границу; завтра наши молодые воздухоплаватели восстановят синоптическое видение. Итак, образование на всех этих уровнях начинает срывать с наших глаз шоры, наложенные на них множественными слоями печати.

Обращаемся ли мы к величайшим городам или к простейшим, мы мало что сможем узнать в области градоведения, расспрашивая их жителей. Часто они могут даже не знать, кто у них члены городского совета, а если и знают, то обычно глумятся над ними, хотя те как граждане обычно лучше тех, кто их выбирает. Они забыли большую часть истории собственного города; да и сами школы – по крайней мере до поры – были последними местами,

где о ней можно было что-то узнать. Они хотят даже забыть ее: зачастую их город кажется им чем-то слишком маленьким и жалким, чтобы интересоваться его делами. Высокомерие ограниченного политика проделало свою пагубную работу от Шотландии до Корнуолла: те, кто должны были быть лучшими их горожанами, слишком долго чувствовали себя выше того, чтобы заниматься такими простыми вещами, как местные «газ и канализация». Даже немногие мыслящие молодые мужчины и женщины в каждой общественной касте – с исключениями, конечно, которых сегодня все больше и больше, – это еще не граждане ни в мысли, ни в деле. Если их не влечет партийная политика, они чаще всего думают стать администраторами, и государственные должности для них куда привлекательнее, чем городские: о «гражданской службе» все знают, что же касается «городской службы», то эту фразу редко услышишь, и еще реже к такой службе стремятся. Зачем им слоняться по мелководью, как политэкономам! Высокие абстракции и высокопарности всех этих обычных типов ума обнаруживаются во всех группах и партиях, и диагностировать их следует не по их широко различающимся партийным мнениям, а по их общей невосприимчивости к градоведению. Один всецело за тарифную реформу, другой не менее убедительно выступает за свободу торговли; один насмерть стоит за гомруль, другой – за центральное правительство; один всецело за мир, другой всем сердцем жаждет войны, и т.д. Но как бы ни стремились все «практические политики» выставить себя практичными, нам, исследователям городов, они кажутся одинаково непрактичными, нереальными, так как они невнимательны, т.е. невежественны, по отношению к этому окружающему их конкретному географическому миру: он их не интересует. Допустим, вас увлекла такая тема, как Германия, и вы пытаетесь завязать какой-нибудь разговор о конкретных немецких городах и о том, что в них делается и чем они интересны. Вы спрашиваете, чем, скажем, интересен Берлин и что в этом отношении отличает его от Лондона, или чем отчасти отличается, а отчасти совпадает с ним в этом плане Гамбург, или чем этот последний может быть сравнительно неинтересен. Вскоре вы обнаруживаете, насколько эти города сливаются для них воедино, и рискуете показаться, причем тем и другим, «непатриотичными», если предложите им узнать об этом побольше. Такого поборника тарифной ре-

формы и спорящего с ним борца за свободу торговли роднит то, что у них нет никаких предложений для обследования Ливерпуля и, наряду с ним, обследования Манчестера; они не видят в них для себя никакой пользы, хотя из всех городов именно эти наверняка помогли бы нам полнее понять подобные вопросы. Их ближние за соседней пивной стойкой или чайным столиком, оживленно спорящие о тред-юнионизме или гомруле и, стало быть, обменивающиеся такими словами, как «Белфаст» и «Дублин», обычно не менее бедны конкретными образами того или другого города, которые копяты в наших градоведческих исследованиях, и, следовательно, проверяются общими идеями относительно них. «Бостон, – говорят, – это не место; это состояние духа». Но разве не применимо это же к «Белфасту» и «Дублину», о коих мы много слышим в парламенте или в прессе? Посвятив одно лето изучению этих двух великих городов (конечно, этого времени совершенно недостаточно, но это больше, чем даже большинство лидеров этих споров позаботилось бы этому уделить), мы будем глубоко впечатлены этим недоверием. Ни один из городов не оказывается таким простым, каким его выставляют.

Чтобы спуститься к существенным фактам и процессам жизни городов, давайте возьмем город, в котором прямо сейчас нет жарких политических баталий. Пусть это будет, скажем, Эдинбург, наше обследование которого, длящееся уже много лет, является наименее незавершенным.

Эдинбург? Да, Эдинбург! Здесь шотландский представитель первым бы покраснел от такого провинциализма. Но исследователь ли он? Конечно, нет. Мы разбудили политика, и он энергично нас порицает. *Он* не собирается возвращаться в Гептархию, чтобы его просили нанести на карту ее мелкие провинции, и тем более обследовать образующие ее округа: он не собирается заниматься приходской водокачкой! Ну хорошо, хотя сама важность Лондона делает более простой задачей начать с меньших по размеру и более понятных мест, давайте вернемся туда и сделаем все, что в наших силах.

Несколько лет назад трое-четверо членов Социологического общества, включая автора этих строк, были удостоены приглашения принять участие в симпозиуме, договорившемся собираться на обед в больших политических клубах, а затем обсуждать «возмож-

ное будущее лондонского правительства». Мы смиренно слушали и только постепенно начали понимать, что означало это название: не – как мы невинно ожидали или даже воображали, что нам было обещано, – предвидение лучшей организации для великого города, не обсуждение того, что улучшения и расширения этой лучшей организации позволят осуществить, и даже не какое-то видение стоящей за этим Утопии. Вовсе нет. Все обернулось, коротко говоря, ничем – кроме перетасовки правительства и оппозиции, замены правительства оппозицией. Только когда по прошествии времени эта тема временно исчерпалась, вспомнили вдруг, что в зале присутствует социологическая депутация. Тогда нас попросили высказаться, причем – отдадим должное председателю, – на наш взгляд, в тот самый момент, когда и следовало. Итак, наш первый оратор начал: «Можно дать мне план Лондона?» «Конечно», – сказал председатель, но такового не оказалось. «Тогда сойдет атлас» (памятуя о том, что клуб обладает немалой библиотекой). «Конечно. Какой именно атлас?» «Хорошо бы “Атлас Англии и Уэльса” Королевского географического общества». И вновь официант возвращается от библиотекаря с извинениями, что его у них нет. «Хорошо, тогда любой атлас! Наверняка есть какая-нибудь карта Лондона, на которой мы сможем разглядеть его внутренние и прилегающие районы». Финальный ответ официанта: «Библиотекарь очень сожалеет, сэр; в библиотеке у него нет атласа». Вступительное слово нашего оратора в таких обстоятельствах было коротким. «Это, джентльмены, ясно выражает разницу между вашим политическим представлением о Лондоне и нашим социологическим. Мы очень хорошо вас поняли; ваша точка зрения была очень нам интересна; но только когда вы добудете атлас и воспользуетесь им, вы поймете нашу». Тем не менее он набросал примерный план, и мы объяснили, насколько смогли, наши взгляды; обсуждения почти не было, и вскоре мы попрощались; больше туда нас не приглашали.

Отсюда мы должны обратиться к читателю, признанному их судье, как теперь и нашему. Есть ли у него атлас, на котором можно разглядеть наши города? Во всяком случае, один ему доступен – вышеупомянутый «Атлас Англии и Уэльса» Королевского географического общества (издательство «Бартоломью», Эдинбург, 1902) – в ближайшей публичной библиотеке. Если его там не ока-

жется, велите библиотекаря незамедлительно его приобрести. Ведь в нем он найдет одну-единственную по-настоящему хорошую карту из всех, которые он когда-либо видел, и даже единственную адекватную из всех существующих, показывающую распределение населения Англии в целом, в Лондоне и его районах, а также во всех городах Англии, уже не просто в виде рассеянных по карте точек, которые мы давно изучали в школе до того, как стали ими интересоваться, и которые по большей части забыли, как и многие подобные вещи. С любезного разрешения издателей мы прикладываем здесь ее репродукцию, но поскольку она по необходимости намного уменьшена и, более того, лишена цветов, то нужно обращаться также к большому цветному оригиналу. Некоторые из применений этой карты мы увидим в следующей главе¹.

Глава IV. Палеотехническое и неотехническое

Двусторонний характер промышленной эпохи

Открывается новая промышленная эпоха: значимость мазутного топлива, электрических индустрий и т.п. Как каменный век теперь разделяется на два периода, Палеолитический и Неолитический, так и промышленная эпоха требует деления ее на две фазы – Палеотехническую и Неотехническую. Пример из синоптического видения Дарема. Толкование протестов романтиков, Карлейля, Рескина и т.д. Понимание физической экономики и «естественных ресурсов» уже не просто в денежном смысле. Разбор денежных обозначений: переход от денежных заработков к «Жизненному Бюджету». Необходимость этой концепции для построения неотехнического города.

Утопии, их незаменимость для социального мышления: бегство из палеотехнического порядка в неотехнический есть, стало быть, переход от Какотопии к Эвтопии; первый включает рассеивание энергий ради индивидуальной денежной выгоды, второй – сбережение энергий и органи-

¹ Карта, как и многочисленные содержащиеся в книге иллюстрации (фотографии, рисунки, репродукции картин), здесь не воспроизводится. – *Прим. пер.*

защиту среды ради сохранения и эволюции жизни, социальной и индивидуальной, городской и родовой.

Интерпретация войны и борьбы за выживание в целом в свете изложенной точки зрения. Новейший прогресс в движении к конструктивной деятельности: достижения американских организаций, борющихся за мир, в сопоставлении с европейскими.

Здесь вновь начинается тот же процесс – процесс новой промышленной эпохи. Вслед за Джеймсом Уаттом, Прометеем паровой энергии, Глазго дал нам величайшего из всех Прометеев электричества в лице лорда Кельвина. Вслед за локомотивом Стефенсона мы получили моторы и электрические машины; вслед за мореходными применениями двигателя Уатта – газовый двигатель из Бирмингема и уже усовершенствованную турбину Парсонса из Ньюкасла; вслед за применением мазута – дизельный двигатель, и т.д.

Так вот из всех ограничений наших преобладающих среднеклассовых и верхнеклассовых точек зрения одно из худших – это не видеть, насколько различаются формы труда. Не только своими продуктами, но и разными уровнями заработной платы, как это обычно описывали экономисты. Ну и, помимо всего этого, почти совершенно неведомыми нам способами их воздействия. Во-первых, на индивидов, выполняющих эти разные задачи, как их наблюдают ныне врачи и психологи; во-вторых, на складывающиеся при этом типы семьи, институтов и общей цивилизации, на которые уже давно указывают применительно к простым обществам социальные географы и которые ныне должны проанализировать применительно к нашим сложным обществам социологи. Приведем простой пример первого. Никто, скажем, не может не видеть, что практическое исчезновение целого легиона кочегаров в связи с появлением мазутного топлива есть нечто с физиологической, если не с политической точки зрения сопоставимое с эмансипацией галерных рабов, которая была схожим образом вызвана усовершенствованием в современных передвижениях. В целом благотворно выбрасывать людей из таких видов занятости. Но есть более тонкие вещи, не столь очевидные, и надобно их проследить. Такой великий идеалист и непререкаемый моральный авторитет,

как покойный Джон Брайт, чувствовал себя логически вынужденным в силу своего экономического кредо – тогдашней веры в то, что в конце концов установится машинно-рыночный порядок, – выступать в парламенте против законов о фальсификации продукции, рассматривая их как вмешательство в конкуренцию и, следовательно, в жизнь торговли! В то время как самый простой, наименее зараженный морализаторством или идеалистичный из электриков не нуждается ни в каких публичных энтузиазмах, ни в каких моральных или социальных убеждениях, которые уверили бы его в том, что фальсификация нежелательна, ведь каждодневная работа в его призвании экспериментально сделала его чувствительным к тому, что малейший след нечистоты в его медной проволоке пагубно сказывается на ее проводимости и что даже капелька грязи между контактирующими поверхностями – это не капелька, а то, что может совершенно испортить контакт. Такие иллюстрации можно было бы множить и расписывать до бесконечности. Но здесь будет достаточно в общем и целом указать – как на существенное для всякого реального понимания нынешнего состояния эволюции городов – на то, что мы проводим ясное различие между тем, что характерно для преходящего промышленного порядка, и тем, что характерно для зарождающегося, между текущей и грядущей эпохой. Более того, за многие годы заранее мы можем сказать: между завершающейся и открывающейся.

Вспомним, как детьми мы впервые услышали о каменном веке, а потом этот термин практически исчез. Оказалось, он смешивает то, что было реально двумя сильно различавшимися фазами цивилизации, хотя они тут и там обнаруживаются в смешанном состоянии, в перетекании одной в другую, иногда в остановленном состоянии или возвратном движении, часто также во взаимном столкновении; поэтому мы называем их сегодня старым и новым каменным веком, палеолитом и неолитом. Первая фаза и соответствующий тип характеризуются грубыми каменными орудиями, последняя – искусно высеченными и отполированными; первая – простыми типами орудий и материалов для более грубого применения, вторая – более разнообразными типами и материалами для более тонких и искусных применений. Первая являет нам грубую охотничью и военную цивилизацию, хотя и не лишенную некоторой энергичности художественных проявлений, к которой стреми-

лись также позднейшие милитаристские или охотничьи типы, редко ее достигая и явно не умея ее превзойти. Позднейшие неолитические люди принадлежали к более мягкому, сельскохозяйственному типу с той более высокой эволюцией мирных искусств и статуса женщины, которая, как знает каждый антрополог, всюду характерна для сельского хозяйства и совершенно очевидна там, где ее искусственно не подавляют.

Документальные свидетельства этих двух разных цивилизаций сегодня ясно предъявляет каждый музей, и нет нужды о них здесь распространяться. Польза их для нас состоит в том, что они позволяют сделать более понятным применение схожего анализа к нашей эпохе, к миру, который нас окружает. Ведь хотя наши экономисты привыкли и до сих пор продолжают говорить о нынешней цивилизации со времен внедрения энергии пара и связанных с ней механизмов, со всеми ее техническими устремлениями и видами мастерства, как о промышленной эпохе, мы требуем аналитически разложить ее на два широко и ясно различимых типа, или этапа: опять же на старый и новый, на более грубый и более утонченный, и они нуждаются, соответственно, в конструктивном понятийном оформлении. Просто заменив «*литическая*» на «*техническая*», мы можем отличить более ранние и грубые элементы промышленной эпохи как палеотехнические, а более новые и часто еще только зарождающиеся – как неотехнические. Людей же, принадлежащих к этим двум устройствам, мы возьмем на себя вольность называть палеотектами и неотектами. К первому порядку относятся угольные шахты, в основном до сих пор работающие, вместе с паровым двигателем и большинством наших ткацких мануфактур; сюда же относятся железные дороги и рынки и, прежде всего, перенаселенные и монотонные промышленные города, которые всем этим были порождены. Эти тоскливые города слишком хорошо нам знакомы, чтобы нуждаться в подробных описаниях; они составляют основную массу каменноугольных конурбаций, которые мы рассматривали в предыдущей главе. Соответствующими им абстрактными порождениями были, с одной стороны, традиционная политическая экономия, с другой – тот общий корпус политической доктрины и политических устремлений, который был со всей ясностью сформулирован и со всей решительностью применен Французской революцией и ее поборниками, а в

нашей стране продвигался шаг за шагом в связке с более медленной и долгой Промышленной революцией.

Чтобы в первую очередь представить в конкретном синоптическом видении города изменение, ведущее от старого режима к современным палеотехническим условиям, мы, пожалуй, не найдем в мире более живого примера, чем вид Дарема с железной дороги. На центральном холме мы видим крупный средневековый замок и величественный кафедральный собор как характерные – насколько только можно желать – памятники светских и духовных властей его старого палатинского графства и епархии, с их графом и епископом, в данном случае объединенными в одном лице. Далее вокруг мы видим обширное развитие современного угледобывающего города с его бесчисленными убогими, но достойно выглядящими улицами, с их более убогими, но достойно выглядящими небольшими домами, и с их основной жизнью, проводимой на кухнях и в задних дворах, тоже достойной, хотя и наиболее убогой из всех; ведь здесь есть некоторое спокойное и непрерывное благополучие, сравнительная свобода от главных зол более крупных городов, и они делают этот современный город Дарема, совершенно отдельный от его старого собора и замка, поистине прекрасным местом угольной эпохи, своего рода образцом палеотехнического порядка. Если к этой благополучной городской жизни добавить школы-пансионы и Библиотеку Карнеги, а к ним еще и проводимые при университете лекции по политической экономике и профсоюзные лекции по экономической истории, то что еще остается желать сердцу шахтера или его «представителя» на пути процветания и просвещения (счастье, семейное и личное, остается его частным делом), как не сделать все это более устойчивым и постоянным посредством принятия таких законов, направленных на смягчение безработицы и заболеваемости, которые до этого разрабатывались? Несомненно, можно было бы еще, наверно, чуть улучшить зарплаты. Можно было бы закрыть собор. И так далее. Но по всем принятым принципам палеотехнической экономики и политики Дарем, очевидно, почти совершенен. Примерно так же обстоит дело в случае наших более крупных шахтерских, металлургических, текстильных конурбаций и городов – как и американских тоже. Пока сохраняется угледобыча, прогресс нам, видимо, практически гарантирован; любимой нами прессой будет

та, которая сможет наиболее ясно оглашать нам это убеждение, а нашими политиками должны стать те, кто, по этой или по противоположной мерке, убедительнее всего пообещает нам обеспечить его продолжение. Если учесть эту организацию, ориентированную на прогресс промышленности, и связанную с ней систему идеалов, выраженную в иных окружающих нас промышленных городах, то разве кого удивит малый успех, с которым по очереди выступили против них Карлейль, Рёскин и Моррис? Или даже критика, на которую их политики и экономисты никогда не были способны ответить? Проще, конечно, было дискредитировать этих авторов как «романтиков», «эстетов» и т.п. и считать, что наука и изобретения всецело на палеотехнической стороне. Но сегодня, благодаря дальнейшему развитию науки и изобретений, мы знаем больше. Знали это Карлейль или Моррис или нет (Рёскин точно подозревал, если не сказать больше), но их взгляд на промышленность уже тогда гораздо больше соответствовал учению физика об энергии, чем воззрения даже сегодняшней расхожей экономической науки. Ведь после затяжного затемнения ее советов экономическими учебниками без тех элементарных физических познаний, которые должны лежать в основе всякого утверждения о промышленном процессе, – за исключением, быть может, в лучшем случае ссылки, да и то нередко унижительной, на утверждения проф. Стэнли Джевонса о солнечных кризисах или об исчерпании наших угольных запасов, – фактически лишь с созданием президентом Рузвельтом «Национальной комиссии по ресурсам» основы национальной экономики стали получать общее признание. Первым в списке этой комиссии значится руководитель национальной Лесной службы Гиффорд Пинчот, и в нее входят такие государственные деятели, сведущие в сельском хозяйстве, как сэр Хорас Планкетт; последний даже активно лично с ней сотрудничает. Сегодня она счастливо включает даже экономиста, пусть даже и в виде головы, вытасченной из пожара и проповедующей учение, очень отличное от учения времен юности. Эти люди говорят теперь своим соотечественникам, что рассеивать национальные энергии, как это до сих пор делали американские палеотекты в Питтсбурге, да и где угодно еще, – это не экономика, а Расточительство, и что дальнейшее рассеивание энергии ради того или иного индивидуального процента на сделку больше не должно быть одобряемо как

«развитие ресурсов», как бы ни был привычен этот лживый эвфемизм, а должно решительно порицаться как национальная растрата и как порочное ведение общественного хозяйства, чем оно всегда и было. По мере развертывания исследований физических реалий в экономическом процессе каждый промышленный процесс должен ясно раскладываться на физические факторы материальной эффективности и прямых потерь, с одной стороны, и финансовые расходы – с другой. Так, хотя мы будем больше, чем когда-либо, использовать любые усовершенствования и изобретения, позволяющие нам экономить энергию, минимизировать трение, уменьшать количество отходов или потери времени на перевозки, мы также начнем критиковать в том же духе коммерческий процесс, который заключен в великой железнодорожной максиме, велящей устанавливать цены по принципу «что рынок выдержит», что в переводе на более научный язык можно назвать «паразитизмом на перевозках». Палеотехнический склад ума – обнаруживается ли он в совете директоров или в профсоюзе рабочих, здесь это имеет мало значения, – был слишком сильно заинтересован в увеличении этих коммерческих доходов или в получении доли от них и слишком мало интересовался максимизацией физической эффективности и экономии. И поскольку все это применимо не только к железным дорогам, вряд ли стоит удивляться тому, что обширные усовершенствования современных изобретений становились в этом общем палеотехническом русле по большей части пустячными, и вовсе не в силу какой-то особой порочности работников или одних только капиталистов, в чем они слишком дешевыми способами себя убеждают.

Развитие науки очень во многом зависит от развития обозначений. Но обозначение – не просто подспорье мысли; оно также очень легко становится для мысли клеткой, из которой трудно вырваться. Такова, по сути, история великого и чудесного арифметического обозначения Денег, в рамки которого палеотехнический разум во всех его формах и видах развития – от школьника до миллионера, от министра образования до экономиста – был и остается, конечно, в разной мере, втиснут, заключен и заперт. От мелкого профсоюза до величайшего банковского треста, все, начиная с раннего воспитания с его превознесением денежной арифметики, зачарованы специализированным настаиванием на денежных при-

былях, доходящим на практике до подлинной одержимости ими, с вытекающей отсюда практической слепотой к своему реальному богатству и к реальным заработкам других. Ведь даже там, где политэконом может доказать, что сохранил ясность своего ума, он никак не может повлиять на народный фольклор, созданный его слишком монетарной наукой.

Эта любовь к деньгам была широко и решительно определена одним из ранних социологов как «корень всех зол», и – странное дело – и это видно, если взглянуть на экономическую ситуацию без сантиментов, т.е. с позиций чисто физической науки, – это выражение в целом оказывается верным для окружающего нас мира, а также в немалой степени очевидным в отношении истории: взгляните на падение Испании, вызванное ее фанатичной любовью к золоту, даже большей, чем фанатичная преданность вере, которую она тоже помогла перевесить. Палеотект может сколько угодно распространяться о «наших обширных и растущих накоплениях богатства», будь то в Банке Лондона или в деревенских сберегательных банках, но для прямого взгляда социального исследователя, как и задолго до него для беспристрастного взгляда Карлейля и Рёскина, это накопление богатства остается, в конце концов, во многом одним и тем же: в основном видением растущих множеств убогих улиц, убогих домов, убогих задних дворов, заменяемых в большей или меньшей степени более крупными и зачастую еще более убогими.

Давайте и дальше расточать национальный запас энергий на получение индивидуальной выгоды, и с точки зрения денежного богатства, несомненно, будут достигнуты необычайные результаты. Доли в состояниях, приличные дивиденды и новые «сбережения» для бесчисленных миллионов. Не в этом ли фактически кроется типичная перспектива – спрессованные и обобщенные годы мусорной корзины – всех плутологических утопий «Города», сведенных в одну?

Но когда эти блестящие результаты оказываются «реализованными» – в материальном смысле, в отличие от финансового, – каковы они? Что можно здесь показать, помимо вышеназванных слишком убогих улиц, убогих домов и пришибленных жизней? Главным образом документально подтвержденные притязания на убогие улицы других людей и на их труд в будущем. Долги по

всей округе, а не запасы; короче говоря, минусовое богатство, а не плюсовое. Неотехнический экономист, напротив, начинает с тщательной экономии национальных ресурсов, например с заботы о том, чтобы высаживать деревья взамен тех, которые вырубаются, причем по возможности чуть больше; и он занят реальными сбережениями. Его лес – подлинный Банк, очень отличный от «кредитов» господина Ротшильда, т.е. каждый раз в конечном счете наш собственный, принадлежащий нам как налогоплательщикам.

Опять же у рабочего человека, влекомого, как и все остальные из нас, традиционным воспитанием в ложное русло денежных заработков, вместо Жизненного Бюджета, никогда еще при палеотехническом порядке не было адекватного дома; у него редко было больше половины того, что могло бы сделать дом достойным. Но по мере того как внедряется неотехнический порядок, а его мастерство направляется жизнью на жизнь и в пользу жизни, и по мере того как он, рабочий человек, как и во всех подлинных городах прошлого, аристо-демократизируется в продуктивного гражданина, он будет направлять свой ум на жилищное строительство и городское планирование, и даже на общий вид города, и все это в масштабах, соперничающих с былыми достижениями истории, а то и превосходящих их. Он станет требовать и создавать благородные улицы, складывающиеся из благородных домов, садов и парков, – а в скором времени и монументы, храмы его обновленных идеалов, превосходящие памятники старины.

Таким образом, он будет быстро накапливать как городское Богатство, так и индивидуальное, т.е. Богатство двоякое, притом оба наследственные. Скажут – как даже и он до сих пор говорит, оставаясь парализованным, – что это «Утопия», т.е. практически Нигде. Это выходит и должно выходить за пределы мечтаний исторических утопистов, какими бы правыми они в свое время ни были. Ведь их проекты реального богатства базировались всего лишь на более рациональном использовании сравнительно скудных ресурсов и ограниченного населения прошлого. Но как наши палеотехнические денежное богатство и реальная бедность связаны с тратой и разбазариванием колоссальных ресурсов энергии и материалов и с тем могуществом в их использовании, которое постоянно приносит нам растущее знание Природы, так и лучшее неотехническое их использование несет с собой возможности бо-

гатства и досуга, выходящие за пределы прошлых утопических мечтаний. На этот раз неотехнический порядок, если он вообще что-то значит, с его лучшим использованием ресурсов и населения, направленным одновременно на улучшение человека и его среды, мыслит их как деловое предложение, а именно: речь идет о создании – город за городом, регион за регионом – своей Эвтопии, так чтобы каждый из них стал местом здоровья и благополучия и даже славной и по-своему беспрецедентной красоты, обновляющим лучшие достижения прошлого и соперничающим с ними, – и все это начинается тут, там и повсюду, в том числе даже там, где наш палеотехнический беспорядок, похоже, сделал худшее, что только мог сделать.

Как это сформулировать еще четче? Довольно просто. Материальных альтернатив реальной экономики, которые из-за этой одержимости денежной экономикой слишком долго друг с другом путали, в целом две, и каждая из них направлена на осуществление некоторого идеала, некоторой Утопии. Это альтернативы палеотехническая и неотехническая: Какотопия и Эвтопия, соответственно. До сих пор преобладала первая. Как палеотекты, мы прежде всего стремимся к тому, чтобы откапывать уголь, управлять механизмами, производить дешевый хлопок, одевать дешевых людей, чтобы добывать еще больше угля, запускать еще больше механизмов, и так далее; и все это – в сущности, для «расширения рынков». Все это организовывалось по сути на основе «первичной бедности» и «вторичной бедности» (если воспользоваться точной терминологией м-ра Раутри, разъясняемой далее), смягчаемых слоем умеренного благосостояния и оживляемых немногочисленными выигрышами и сравнительно редкими состояниями (последние чаще всего оцениваются в золоте и после смерти).

Но все это было без адекватного развития реального богатства, которое выражалось бы прежде всего в домах и садах, не говоря уже о маленьких и больших городах, достойных собственного названия: наша промышленность всего лишь поддерживает и умножает наше бедное и унылое существование. Наши палеотехнические жизненные труды быстро физически рассеиваются; они очень быстро оборачиваются пылью и тленом, каковы бы ни были наши денежные заработки. Более того, хотя мы создали из всего этого исчерпание ресурсов Природы и рода целые новые конурба-

ции, городки и псевдогорода, все они преимущественно, и даже по существу, имеют трущобный характер: все, как мы полнее увидим дальше, являются Трущобами, Полутрущобами или Супертрущобами; каждая, стало быть, в целом являет собой Какотопию; и в них мы находим соответствующее развитие различных соотносящихся с такой средой типов человеческой деградации. В рамках этой системы жизни могут возникать (и, конечно, возникают) всякого рода паллиативы, но они не оказывают на отмеченный контраст никакого воздействия.

Меж тем остается открытой еще вторая альтернатива, и, к счастью, мы всюду видим сегодня ее материальные ростки – признаки зарождающегося неотехнического порядка. Где бы с энергией и решимостью, хоть в чем-то похожими на те, которые снова и снова проявляли палеотекты, особенно при наступлении машинной эпохи, железнодорожной эпохи, финансовой эпохи, а теперь милитаристской, мы ни решали – а однажды, причем скоро, мы это сделаем – направить наши конструктивные умения и жизненные энергии на общественное сохранение ресурсов, вместо частного их растрачивания, и на эволюцию жизни других, вместо ее разрушения, мы будем замечать, что этот порядок вещей тоже «вознаграждает», причем с качественной точки зрения во всех отношениях лучше. Иначе говоря, мы получим лучшие дома и сады со всем, что к ним прилагается, и это будет способствовать сохранению и эволюции наших жизней и, в еще большей степени, жизни наших детей. В скором, невероятно скором времени у нас – и еще больше у них – будут эти жилища, а вместе с ними тот существенный и гарантированный, здоровый и приятный вклад в жизнеобеспечение их жильцов, который предполагают при правильном их понимании и возделывании сады. Старые социологи в своих простых обществах видели яснее нас; но если мы вернем их деревенскую и эволюционную точку зрения, то сможем увидеть, что и у нас человек «что посеет, то и пожнет», а если не пожнет сам, то это в любом случае сделают его потомки. Во время палеотехнического периода это обычно понималось и проповедовалось как проклятье. С неотехнической же точки зрения это благословение, явно укорененное в порядке Природы. Почему бы не сеять во все большем объеме то, что было бы лучше всего пожать?

Жизнь и труд каждого рода и поколения людей – это лишь выражение и претворение их идеалов. Никогда еще это не делалось полнее, чем в нашей палеотехнической фазе с ее расточительной индустрией и ее хищническими финансами, и ее последствия – выраженные (а) в распылении энергии и (б) в истощении жизни – становятся теперь явными. Такое двойное распыление, наверное, проще всего наблюдать по двум его основным линиям: во-первых, в грубых излишествах и развлечениях и тех «распылениях», которые они так явственно в себе заключают в моральном смысле; и, во-вторых, в войне. Грубая роскошь извиняется и даже психологически требуется затратностью палеотехнической жизни едва ли не в каждом жизненно важном элементе красоты и духовности, который знало и ценило до сих пор человечество. Так, если взять только одно из наших первостепенных национальных излишеств, большую или меньшую алкоголизацию, то ее очень удачно определили – в подлинной вспышке судебной мудрости – как «быстрейший способ убраться из Манчестера».

Так же и Война и приготовления к ней объясняются и, можно даже сказать, с необходимостью диктуются принятой философией и социальной психологией наших палеотехнических городов, особенно столичных. Прежде всего, война – это всего лишь генерализация текущей теории конкуренции как существенного фактора жизненного прогресса. Ведь если конкуренция, как нам говорят, является жизнью торговли, то конкуренция должна быть также и торговлей жизнью. Разве могли простые натуралисты вроде Дарвина и его последователей не поверить в это? И, следовательно, не спроецировать ее, добавив ей новую авторитетность, на Природу и на человеческую жизнь! Палеотехническая философия достигла тем самым завершенности, и торговая, природная и военная конкуренция в своем трехстороннем единстве не преминула вознаградить своих почитателей. Так социальный разум, особенно названных городов, а потом и всей нации, на которую они влияют, начинает характеризоваться и определяться все углубляющимся состоянием повсеместного и привычного страха. Это опять же естественное накопление, неизбежное психологическое выражение некоторых вполне реальных зол и опасностей, хотя и не тех, которые должны широко выражаться. Во-первых, речь идет о неэффективности и расточительности палеотехнической промышленности

с соответствующей нестабильностью и нерегулярностью найма, которую все больше чувствуют все, кого это затрагивает; во-вторых, о соответствующей неустойчивости финансовой системы с ее денежными и кредитными иллюзиями, которые тоже начинают осознаваться; в-третьих, о растущей физической вялости и истощении и, так или иначе, непригодности к работе, которые все мы в нашей палеотехнической городской жизни в какой-то степени ощущаем и которые, следовательно, должны все больше заставлять нас отползать за барьер и вызывать о помощи. Отсюда восхваление Крымской войны у Теннисона и масса более ранних и поздних восхвалений войны, скажем, у Рёскина. Ведь когда воображенные военные опасности становятся реальными, они не нагоняют страх, а мгновенно подбадривают и оживляют нашу угасающую отвагу. Во всей старой «веселой Англии» был единственный город, который обычно похвалялся этим эпитетом, и это был «веселый Карлайл», – ведь он охранял границу, принимал первый удар при шотландских набегах или вторжениях и первым отправлял своих закаленных сынов, то с целью их спровоцировать, то для того, чтобы дать отпор. Схожим образом не во многих прибрежных городах, открытых для обстрела, а из всех наших городов именно в Лондоне – и не просто, а по глубоким причинам, ведь он практически неприступен, не говоря уже о гарантиях немедленной концентрации всех национальных ресурсов для организации его обороны, – желтому журналисту легче всего сыграть на массовых страхах.

На этих основаниях, которые в иных местах и в иные времена были слишком очевидны, естественным образом вырастает серьезный пессимизм. Тем не менее наш пессимизм здесь лишь относителен, ибо для пробуждения соответствующей отваги нам не нужно никакой войны, а достаточно лишь появления неотехнического искусства и науки. Отсюда, например, радостная приподнятость авиатора посреди отчаянных рисков; отсюда же, по большей части, и спокойствие Парижа на всем протяжении долгих и угрожающих марокканских переговоров 1911 г.

Поскольку эта палеотехническая одержимость войной столь явно стоит на пути улучшения города, давайте представим ее критику несколько иным образом.

У отстающих народов сельское хозяйство приходит в упадок, и с затуханием деревенской жизни распадаются также ее родственные умения и искусства, ее радости и ее дух, само ее здоровье. Возникает и расширяется порочный круг: вместо старого простого товарищества в труде появляются и углубляются тяжелые рутинные работы, избыточные и угодливые, убогие, даже презренные; на место отдыха приходят распущенность и праздность, оргии, за которыми следуют тоска и апатия. С возвращением милитаризма классы фиксируются в качестве статуса; рождаются и усиливаются табу; а секс, естественный и фундаментальный источник моральной жизни у обоих полов, извращается и переходит в грезы и пляски странных грехов. От всего такого «прогресса», такого «богатства», такого «мира» люди устают. Старое мужество, которое у их деревенских отцов встречало превратности жизни и справлялось с ними в русле хода Природы, теперь находит основной выход в азартной игре, и это все больше портит законную торговлю. Правящий класс, таким образом, все больше становится классом богатых, и соответственно прирастают типы населения, готовые покорно взяться за любую работу, лишь бы за нее платили, и находящие надежду и жизненный восторг в перспективе тоже случайно получить что-то ни за что, как и уже преуспевшие в этой игре.

Прежние деревенские касты, высокие и низкие, менее пригодные для такой современной жизни, все-таки впитываются и втягиваются в нее, либо становясь охранителями и функционерами внутри нее, либо входя в военную касту для внешней службы. Этим палеотехнический «порядок» доводится до завершения, причем в ущерб прогрессу, как часто показывала нам история России, Австрии и Пруссии; и, как они нам говорят, наша история все больше напоминает их историю. В каждой такой стране, и даже в ее столице, хотя и будучи во многом созданной и поддерживаемой таким образом, искра души, таящаяся в каждом человеке, начинает в нем угасать либо разгораться в социальное недовольство; в ней может клокотать бунт. Здесь появляются также официальный оратор и бард; как социальные знахари, они должны при всех опасностях вновь пробуждать мужество, отвагу, пусть и вопреки страху. Таким образом, лихорадочно бросаемые то в жар, то в холод, палеотекты носятся туда-сюда, из крайности в крайность; они избоб-

ретают новые мифы террора, а их охранники – новые военные танцы; те предъявляют свои сокровища, эти строят огромные и еще более огромные храмы богам страха. Они вырезают свои дубины, удлиняют и набивают людьми свои военные каное и в один прекрасный день отправляются на битву. Даже если на сей раз это увенчается победой и славой, господством и владычеством, во всем этом содержится немало зерен загнивания, которые по ходу дела растут, пока не созреют. Разве это, в самых общих очертаниях и в самом конечном счете, не антропология половины Южных морей и не история старых пиратских и берсеркских побед Скандинавии? Единственный свежий штрих, остающийся для такого резюме, состоит в том, что при более полном описании это то, что скандинавские народы теперь мыслят и говорят о нас: «Великие Державы». Ибо теперь скандинавы находятся в иначе развивающемся состоянии духа, с соответственно иной фазой жизни, иным представлением о ее защите, иной практикой в отношении выживания. Спасаемые собственной бедностью на природные ресурсы, как нам привычно было до последнего времени думать, или счастливым случаем, как видно теперь, от современных промышленных столпотворений, которые мы, в силу самой их величины, называем городами, они вступают в фазу развития культурных городов, которые уже сегодня с точки зрения качества жизни и цивилизованности оказываются актуально и соразмерно впереди наших, даже если взять среди последних сравнительно выгодные примеры. Двадцать пять лет назад один эдинбуржец мог говорить другому: «В маленьком Бергене больше новой музыки и живой науки, чем в большом Эдинбурге». А сегодня Григ и Нансен известны по всей цепочке деревень и поселков, чьи электрические огни светятся по ночам от Тромсё до самой Христиании, и известны даже нам. Когда-то, по правде говоря, наши шотландские певцы и мыслители были так же известны по всей их стране и за ее пределами; но это было во времена сравнительной бедности, до наших дней «бизнеса» и «образования», кажущихся теперь столь иллюзорными в их количественных оценках.

Итак, военные битвы не столь существенны для природы общества, как многие стали считать в наши дни; и даже когда они происходят, они не в столь уж и большой степени являются вопросом больших батальонов.

Не будем подробно вдаваться в социальные факторы войны, ибо тогда несколько абзацев разрослись бы в целый том; здесь нам достаточно будет подчеркнуть основную идею этой главы, что наша сущностная борьба за существование в настоящее время требует точки зрения, отличной от точки зрения милитаристов и более широкой по сравнению с ней.

Воздадим же им должное за их меру побуждения к неотехническому мастерству и изобретению и за тот дух жертвенности в пользу социального блага, который они прививают; но пусть они также осознают, что нынешняя основная борьба за существование – это не борьба флотов и армий, а борьба между палеотехническим и неотехническим порядками. И это касается не только нашей промышленной производительности, на чем некоторые, надо отдать им должное, настаивают, но и, по сути, всей нашей сельской и всей нашей городской жизни. Попросту говоря, если мы перестроим наши города так же, как перестраиваем наши флоты, если мы будем модернизировать наши университеты и колледжи, наши культурные учреждения и школы так же, как жаждали модернизировать наши дредноуты, то будет гораздо меньше страха перед войной и гораздо больше уверенности в выживании, с какой стороны ни возьми. И наоборот, не осуществляя этот необходимый подъем нашего общего уровня цивилизации, каждый добавочный вес в нашей броне всего лишь помогает удержать его на нижней планке.

Сказанное становится яснее, когда мы переходим от драматически преувеличенных соперничеств прусских и британских милитаристов и даже от слишком сентиментальных протестов или слишком холодно-легалистских усилий европейских обществ за мир и арбитраж к растущим движениям за мир в Соединенных Штатах. Пока еще слишком рано предсказывать, будет ли колоссальному фонду м-ра Карнеги помогать в его конкретных усилиях или мешать заявленное им совершенство бюрократической и академической организации; но меньший по размеру Международный фонд мира в Бостоне под замечательным руководством м-ра Эдвина Д. Мида и его супруги явно встал на сторону конструктивного мира; и, видимо, есть основания надеяться на то же в отношении активной и нарастающей пропаганды м-ра Нормана Энджелла и связанного с ней нового Фонда Гартона. Такая же

концепция подчеркивается Джейн Аддамс, этой подлинной аббатисой Чикаго, в которой Америка обрела столь редкую комбинацию социального опыта, душевной щедрости, интеллектуальной хватки и прозорливости и движущей силы. По мере того как такие женщины и конструктивные пацифисты будут входить в зарождающееся городское и градопланировочное движение и возглавлять его, их тяжело вооруженные и оснащенные щитами бойцы будут постепенно учиться обращаться и с мастерком, а потом и вовсе отложат свой арсенал в сторону. Через Регион и Город, через их возрождение и развитие пролегает мирный, хотя и тернистый путь выживания и эволюции.

*Пер. с англ. В.Г. Николаева**

(Окончание следует)

* Николаев Владимир Геннадьевич – кандидат социологических наук, доцент кафедры общей социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН. E-mail: vnik1968@yandex.ru